

А. А. УХТОМСКИЙ

Наша прекрасная  
Александрия

**Алексей Алексеевич Ухтомский**  
**Игорь С. Кузьмичев**

**Наша прекрасная Александрия.  
Письма к И. И. Каплан (1922–  
1924), Е. И. Бронштейн-  
Шур (1927–1941), Ф. Г.  
Гинзбург (1927–1941)**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24822296](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24822296)*

*Алексей Ухтомский. Наша прекрасная Александрия. Письма к И. И. Каплан (1922–1924). Письма к Е. И. Бронштейн-Шур (1927–1941). Письма к Ф. Г. Гинзбург (1927–1941): Трактат; Санкт-Петербург; 2017*

*ISBN 978-5-9909419-7-7*

### **Аннотация**

В 1922 году университетские студенты-физиологи проходили летнюю практику под Петергофом в бывшей царской резиденции, «нашей прекрасной Александрии», как они ее называли. В ту пору у А. А. Ухтомского завязалась недолгая переписка с И. Каплан, а позже (с 1927 по 1941 год) он активно переписывался со своими ученицами Е. Бронштейн-Шур и Ф. Гинзбург. Диапазон научных и нравственных проблем в публикуемых письмах тех лет

был довольно разнообразен – от закона доминанты и понятия «хронотоп» до секретов психологии творчества и толстовского вопроса: «Для чего пишут люди»?

# Содержание

Предисловие	8
Письма к И. И. Каплан	18
1	18
2	21
3	22
4	23
5	25
6	27
7	29
8	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

**А. А. Ухтомский**

**Наша прекрасная**

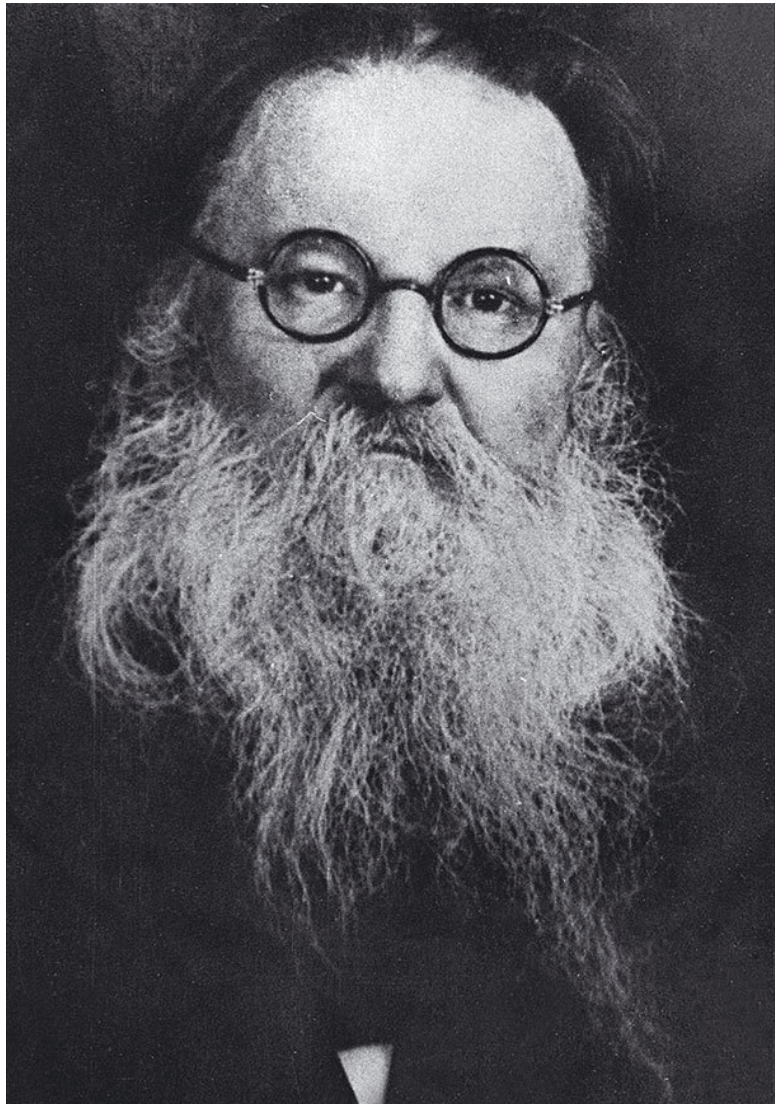
**Александрия. Письма к**

**И. И. Каплан (1922–1924).**

**Письма к Е. И. Бронштейн-**

**Шур (1927–1941). Письма к**

**Ф. Г. Гинзбург (1927–1941)**



© Кузьмичев И. С., составление, предисловие, 2017

© Издательство «Трактат», оформление, 2017

# Предисловие

Университет в Петрограде после революции переживал унылые, беспросветные времена.

Еще в августе 1918 года Ухтомский опасался, что росчерком всевластного и невежественного пера может быть уничтожена университетская автономия. В ноябре, правда, писал А. Платоновой спокойнее: «В Университете у нас большевистские порядки сказываются пока мало, – течение жизни почти прежнее. Однако в будущем ожидаются перемены, переизбрания на места и т. под. Должны быть потрясения для многих. Что касается меня, то уповаю на милость Божию и на Его Святую Волю. Я сжился с Университетом, для меня бы была чужда и трудна всякая другая служба. И многого, пожалуй, не удалось осуществить из того, что хотелось сделать и написать, если б судьба велела мне покинуть Университет...»

О тогдашнем житье-бытье Ухтомского вспоминала его ученица Анна Коперина-Казанская. Она девятнадцатилетней девушкой в 1921 году приехала к нему из Рыбинска с надежной рекомендацией и поступила на биофак Университета. По ее словам, Алексей Алексеевич жил на своей «вышке» совершенно затворнически. Дома у него отсутствовал не только телефон, – сама мысль о котором повергала хозяина в ужас, – но не было и входного звонка, дверь открывалась на

условный стук... В большей из двух комнат царила неразбериха. На полу кипами лежали книги, убирать их или стирать пыль с них категорически воспрещалось. Зато в соседнем кабинете, куда заглядывать разрешалось лишь при крайней необходимости, соблюдался идеальный порядок, и шкафами была выгорожена молельная – с иконостасом, аналоем, всегда раскрытой книгой на нем.

В летние месяцы 1922 года Ухтомский с группой учеников организовал студенческую практику в Новом Петергофе, в недавней царской резиденции – Александрии. А. Казанская вспоминала, как студенток поместили в бывшем корпусе фрейлин около дворца, в роскошном парке неподалеку от моря; как с утра до позднего вечера они не покидали физиологическую лабораторию, экспериментировали на лягушках и моллюсках; как впервые именно здесь услышали от Алексея Алексеевича о законе *доминанты* – их практические задания все посвящались этой проблеме; как по воскресеньям устраивали прогулки по великолепным окрестностям, а вечерами в гостиной затевали игры, и Ухтомский отнюдь не избегал в них участвовать: «Для него откровением была и новая поэзия, и песенки Вертинского, и в том, как он все это воспринимал, чувствовалось, как еще он был молод...»

Участницей «александрийского кружка» была и двадцатилетняя Ида Каплан. Письма к ней (1922–1924) в эпистолярном наследии Ухтомского принадлежат к самым проникновенным страницам. В них он раскрывал секрет петергоф-

ского содружества, – где и учитель, и студенты бодрили, «поднимали друг друга», умели разглядеть в товарищах «алтари», а не «задворки», – и признавался, что был тогда по-особому счастлив. В «творческой идеализации» он усматривал основу человеческого общения: когда человек, забывая о своих амбициях и капризах, и в соседе замечает лучшее и пытается до этого лучшего дорасти. Чаще ведь человек ради самоутешения видит у соседа грехи, какие знает за собой. А для чистого душой – люди чисты. Потому-то, размышлял Ухтомский, «чистая юность умеет идеализировать» и так прогрессивна духом. Приземленная же старость, «если она не сопряжена с мудростью», теряет щедрость сердца, брюзжит и «уже не приветствует вновь приходящей жизни».

Ухтомский писал Иде Каплан: «Радостное и солнечное в прошлогодней Александрии было для меня в том, что я учувствовал в Вас другого, самобытного, мог назвать другом, – и тогда вместе с Вами, с другом стал ощущать красоту... той Истины и Жизни, которая дает смысл жизни и Вашей, и моей, и наших братьев. Вот это – счастье, настоящее счастье, которое тогда нас радовало: счастье не эгоцентрическое, но общее с ощущаемым близким человеком и людьми, не мое, а общее с любимым и любимыми».

Он старался осторожно продемонстрировать своей юной ученице «скудость и мелкоту» натуралистических представлений о жизни и смерти, доказать необходимость «нового опыта», вносящего в повседневную маяту «небывалую се-

рьезность», говорил, что хочет поделиться с ней всем самым светлым, во что научился верить. «Но я не знаю, – объяснялся Алексей Алексеевич, – ничего лучше, светлее и радостнее Христа и христианства. И вот мне так хочется погрузить Вас в эту прочную, верную и нескончаемую радость, победительницу болезни, греха и смерти!»

Судьба бесцеремонно вмешалась в зародившуюся между ними духовную близость. «Александрийская радость» было недолгой, доброе содружество распалось, а Алексей Алексеевич в мае 1923 года вторично угодил под арест в связи с закрытием Никольской церкви.

К началу 1923 учебного года Ухтомского освободили, взяв с него подписку «свои религиозные убеждения держать только для себя и про себя». В августе он поведал Иде Каплан в письме, что вот уже две недели, как его выпустили из тюрьмы, ничего определенного о своем будущем он не знает, изъятые документы и переписку ему не возвращают и письма к нему не доходят. «При желании, – писал Алексей Алексеевич, – могут, конечно, состряпать какое угодно дело о „контрреволюции“, благо это такое удобное понятие по своей растяжимости и неопределенности... Так что о себе могу лишь повторить Ваше слово: хорошо, что хоть на свободе!»

Ухтомский был признателен Иде Каплан за то, что она всколыхнула в нем «новые мысли», дала осветиться «новым перспективам».

Были, однако, глубинные причины, разведшие их в разные стороны. Разбираясь в этих причинах, Алексей Алексеевич записывал в дневнике: «Отвергнув от сердца природу, принципиально перестав думать о ней МЫ, человек и сам умер последнею смертью. Предать природу сатане, уступить ее внешнему, как это делали восточные мистики, Платон и манихеи, значит предрешить и свое оскудение... Понятна теперь и моя трагедия 1922–1923 года. Более всего для меня было убийственно возникшее МЫ с И. И. К. Но, беря на себя добиваться закрепления этого МЫ обыкновенным путем, я рисковал оборвать прежнее МЫ с сотаинниками в церкви».

Прощаясь с Идой Каплан, Ухтомский писал ей: «Ваше слово „не трогать Вас больше“ я свято исполню... Искал я в Вашем обществе не удовольствия, но счастья, не успокоения, а только Вас. „Ищу не вашего, а вас“, – приснопамятное слово великого человека древности?»

Повторный арест Ухтомского многих студентов испугал и от него отдалил. А. Казанская переехала в Москву. Кое-кто – в их числе Ида Каплан – вовсе оставили физиологию. И все-таки тяготение Ухтомского к молодому университетскому люду не слабело. У него появлялись новые ученики и последователи, и он, отлично зная соблазны и каверзы академической среды, «порядочно искажающей человека», старался застраховать их и от опрометчивых решений, и от несправедливых нападков, и от тупого давления слепых официальных доктрин.

В ту пору возникали у Алексея Алексеевича новые привязанности. В частности, он поддерживал теплые творческие отношения – с 1927 по 1941 год – со своими выпускницами-подругами Еленой Бронштейн-Шур и Фаиной Гинзбург. Переписка с ними очень содержательна, диапазон обсуждаемых ими научных и нравственных проблем богат – от закона доминанты, «двойничества» и концепции «заслуженного собеседника» до христианских догматов милосердия, психологии творчества и толстовского вопроса: «Для чего пишут люди?»

Как возникла странная профессия *писательство*? – задумывался Ухтомский. Не удивительно ли, обращался он в 1928 году к Бронштейн-Шур, «что вместо прямых и практически-понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей, – писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать!» Прямо-таки физиологическая потребность! Человек почти болен, перед тем как сесть за писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает.

«Как это ни парадоксально, но это так! – утверждал Ухтомский. – Это, в сущности, уже плохо, если человек вступил на путь писательства! С хорошей жизни не запишешь! Это уже дефект и некоторая болезнь, если человек не находит собеседника вблизи себя и потому вступает на путь писательства. Это или *непоправимая утрата*, или *неуме-*

*ние жить с людьми целой, неабстрактной жизнью!»* Нравственный потенциал писателя, ученого, любого гражданина зависит от того, какие «неабстрактные» отношения им по силам. И мера доброты тем выше, чем богаче и бескорыстнее личность. Не умнее и не ученее, а душевно щедрее!

Мир в представлении Ухтомского – не «вещь» и не «механизм», но – «текущий процесс». В переписке с Бронштейн-Шур и Гинзбург он не однажды обращал их внимание на понятие «хронотоп», которое, на его взгляд, пришло на смену старым отвлеченностям «времени» и «пространства». По Ухтомскому, – памятуя о хронотопе, – «и траектория электрона в атоме, и траектория Земли в отношении созвездия Геркулеса, и траектория белковой молекулы в сернокислой среде до превращения ее в уголь, и траектория человека через события его жизни до превращения в газы и растворы – все это мировые линии, которые предстоит детерминировать науке!»

«Идея хронотопа в том, – писал Ухтомский Гинзбург в ноябре 1927 года, – что событие не создается, не определяется сейчас пришедшими факторами, – последние приходят лишь затем, чтобы осуществить и выявить то, что начиналось и определилось в прошлом... Человеку странно и обидно думать, что это не он сейчас решает, что делать, но всматриваясь в ход событий, он начинает понимать все более, что то, что решается сейчас, в действительности было предрешено задолго!.. Предрешенное прежними событиями, но тре-

бующее созревания и условий извне, чтобы сейчас открыться в действии и для всех выявиться, – вот хронотоп в бытии и доминанта в нас».

Середина 1930-х оказалась для Ухтомского чрезвычайно плодотворной. В 1934 году он возглавил образованный по его инициативе научно-исследовательский Физиологический институт при университете и, определяя стратегию работ, наметил направление «более широкого и общего значения, чем обычный путь классической физиологии», поставив целью изучать проблемы человеческого сознания комплексно, заложив первым в стране основы физиологической кибернетики. А в 1935 году Алексей Алексеевич принял участие в XV Международном физиологическом конгрессе, который проводился в Ленинграде и в Москве. Накануне конгресса издали на английском языке сборник его статей; доклады его учеников тщательно готовились в институте; когда в Ленинград съехались крупнейшие ученые мира, Ухтомский с ними встречался и беседовал; на заключительном заседании в Москве он прочел по-французски блестящий доклад «Физиологическая лабильность и акт торможения».

Делясь тогда впечатлениями с Гинзбург, Ухтомский с удовлетворением отмечал близость проблематики «университетской школы» с идеями ученых Сорбонны и досадовал на И. П. Павлова и Л. А. Орбели, не стеснявшихся отодвигать университетскую физиологию на задний план. «Со сво-

ей стороны я, – писал ей Ухтомский, – предпочитал вести себя и наши дела так, как будто мы совсем не замечаем подвохов и интриганства с их стороны».

Не удалось избежать «подвохов и интриганства» и в университете. Нашлись люди, которые из соображений карьеры пытались скомпрометировать доброе имя Ухтомского, вносили разлад в дружный, годами пестуемый им коллектив единомышленников. На кафедре завелись склоки и наушничество. Ухтомский с тяжелым сердцем наблюдал, как недавно еще порядочный человек, раздавленный морально, становился способен на всяческие низости и незаметно для себя превращался на глазах «во что-то неузнаваемое». «Только по инерции самозащиты и стихийного самоизвинения» продолжал такой человек самооправдываться, когда от прежнего в нем уже не оставалось «ничего, кроме имени и оболочки».

Подобные падения удручали Ухтомского сильнее личных обид. Когда руководителям кафедр вменили в обязанность доносить о политической неблагонадежности своих сотрудников, он, разумеется, это категорически отверг. Вступаясь за тех, кого пытались обвинить в «контрреволюции» и прочих грехах, возражал: «Во всех случаях решать должен я, и ответственность несу я. Итак, предоставьте мне вести дело так, как беру на свою ответственность я. Иду по карнизу, над пропастью... Я все время рискую. Не давайте же мне под руку советов. Отвечаю за все я...»

«Жизнь А. Ухтомского протекала среди молодежи, – вспоминала Е. И. Бронштейн-Шур. – У него не было семьи, и своей семьей он считал учеников. Почти о каждом студенте он знал и помнил, откуда он родом, чем интересуется, к чему стремится. И студенты платили ему большим уважением и любовью: они приходили к нему за советом, поверяли свои сомнения, делились планами и надеждами <...> Алексей Алексеевич направлял нашу мысль на поиски настоящего дела, нацеливая нас на полезный и скромный труд и всегда предостерегал от стремления к блестящему, но незаслуженному успеху. Своим энтузиазмом, преданностью науке он заражал и нас, тогда еще совсем юных, стоящих на пороге самостоятельной жизни. На глазах у нас был пример его жизни, и этот пример учил лучше, чем любые красноречивые слова».

*И. Кузьмичев*

# Письма к И. И. Каплан (1922–1924)

## 1

*6 сентября 1922. Александрия*

Прекрасный мой друг Ида Исаковна, Вера Федоровна так мила, – собралась пойти к Вам. Не сочтите за назойливость с нашей стороны, что пристаем к Вам с просьбой покушать нашей стряпни. Будьте такая сердечная, не откажитесь и покушайте! Так Вы сегодня с утра слабо выглядели, – у меня до сих пор перед глазами побледневшие губы, поблекшее лицо! Вот видите, – я, пожалуй, более прав, когда так удивляюсь, как необыкновенному счастью, какой-либо удаче вроде общего чтения Соловьева, в общем же ожидаю скорей неудачи и огорчений! Недаром я вчера так дивился этой необыкновенной и незаслуженной удаче, – что до сих пор удалось мне почитать с Вами! Это было для меня удивительное счастье! А когда что-нибудь не удастся, я к этому подготовлен, ибо это-то во всяком случае заслужено!

Ну, укрепляйтесь же и отдохните! Может быть, еще придется посидеть и побеседовать, как было в эти дни?

Посылаю Вам листочек с выписками для наклейки в Биб-

лии. Мы уже говорили об этом, и Вы согласились включить этот листочек! Я думаю, что лучше всего укрепить его на переплете, вначале, с внутренней стороны! Клей есть?

Эти выписки характеризуют Вам, с какими настроениями мне хочется вручить Вам Священную Книгу. Да сохранит Вас от всякого зла, да вдохновит, да просвятит, да насытит Ваше сердце и дух Святое Слово Божие и Дух Утешитель!

Сердечный мой друг, позвольте брать на мое имя молоко с фермы для Вас! Вы знаете, какое удовольствие для меня доставили бы тем, что смогу оказать Вам маленькую услугу! Если бы несколько лишних ложечек крови образовалось в Вас за эти дни, это было бы прекрасно!

Лягушки, отпрепарированные Вами, не пропали: я отравил их стрихнином и протоколирую опыты, узнаете потом о результатах. Без Вас препарировать вновь не буду, буду ждать Вас. Без моей милой научной сотрудницы я как без рук! Вы это знаете.

Но Вы себя отнюдь не насиуйте и через силу ни в каком случае ко мне не приходите. Я буду рад знать, что Вы отдыхаете, крепнете, читаете, лежите, думаете в свое удовольствие. Как бы мне хотелось знать, что в Вашей душе светло и радостно! И светло и радостно не случайно, не по счастливому стечению обстоятельств, но прочно и ровно, как в хороший летний день. Одним словом, – чтобы пришел *настоящий и подлинный Свет, настоящая и подлинная Радость*. Я естественно хочу передать моим друзьям и любимым все

хорошее и светлое, что я знаю в жизни и во что жизнь научила меня веровать. Но я не знаю ничего лучше, светлее и радостнее Христа и христианства. И вот мне так хочется погрузить Вас в эту прочную, верную и нескончаемую радость, победительницу болезни, греха и смерти!

Преданный Вам душевно Ваш

*А. Ухтомский*

## 2

*7 сентября 1922. Александрия*

Дорогая Ида, спасибо за милое письмо, очень меня тронувшее. Черкните, что с Вами, как себя чувствуете. По лаборатории все убрал, скотинку обрядил. Одна из Ваших лягушек еще жива и дает рефлексы. Повышена возбудимость в отравленной лапке, но доминанты нет, нет и извращения Ав-а. Не насилуйте себя и, если не хочется, не приходите.

Ваш преданный

*А. Ухтомский*

### 3

*27 октября 1922. Петроград*

Дорогая Ида Исаковна, в воскресенье 29-го окт., в 1 ч. дня, в большой физической аудитории университета состоится соединенное заседание всех отделений Общества естествоиспытателей, посвященное памяти И. Е. Введенского. Может быть, Вы нашли бы возможность и пожелали бы быть на этом заседании? Мне придется делать на нем доклад о научной деятельности покойного, и это тяжелое для меня испытание было бы облегчено для меня чувством, что Вы тут! Да для Вас было бы поучительно участвовать в этих ученых поминках, во всяком случае, крупного ученого.

Вы знаете, что доставили бы мне большую радость своим присутствием.

*Ваш А. Ухтомский*

*27 октября 1922. Петроград*

Моя родная труженица, во-первых, примите мою благодарность за Ваше горячее желание помочь мне собрать расточающуюся лабораторию. Я очень чувствую Вашу дружескую поддержку.

Во-вторых, Бога ради, никогда не говорите мне этого, горького для меня, слова, что не будете мне говорить, что думаете! Никогда не спрашивайте, «сержусь» ли я на то, что Вы мне говорите! Как же я могу «сердиться», когда мне и нужно-то именно это дружеское и откровенное слово, высказывающее мне всю правду, которая будет чувствоваться Вашей милой душе?

Со своей стороны, скажу следующее. Я боюсь быть нетактичным и назойливым в отношении Вас в моем желании почаще быть с Вами. Поэтому говорите мне сами и совершенно открыто, по-дружески, когда я делаю что-нибудь неудобное для Вас.

Например, не стеснительно ли для Вас, не представляет ли неловкости мое желание опять работать с Вами? Может быть, Вам хочется работать одной? Мне что-то подобное показалось в последние дни. Скажите мне об этом по-дружески, просто, откровенно.

Когда покажете мне карточки Ваших отца и мамы?

*Ваш А. Ухтомский*

*3 ноября 1922*

Мой прекрасный друг, после Вашего ухода я почти тотчас вспомнил забытое название оперы. Это «Хованщина»! Итак, если будет возможно попасть на эти две вещи: «Град Китеж» и «Хованщина», попомните, что я с большой радостью буду Вашим спутником, чтобы пережить сообща впечатления, идеи и поделиться ими, вполне не замечая публики и обстановки вокруг.

Посылаю Вам старинную, старинную карточку, затерявшуюся многими годами в моем письменном столе. Когда-то, еще до войны, я купил ее за тот уют, которым повеяло на меня от этой теплой избушки в лесу, среди сугробов, с приветливым огоньком в окне, с лесной тропинкой и с детишками, очевидно, долго дожидавшимися возвращения дедушки с гостинцами.

Будьте благополучны и радостны, и передайте мне на расстоянии, чтобы я знал, что с Вами все хорошо. Желая поскорее освобождения брата! Господь с Вами.

*Преданный А. У.*

И еще карточку из старинных моих покупок, завалывшихся в углах письменного стола, посылаю Вам, – на этот раз с просьбой принести в университет на лекцию линейки, с ве-

ревочкой, от пантографа. На днях придется говорить в мышечной физиологии об архитектуре перистой мышцы, и тогда линейки потребуются для демонстрации вращательных моментов у отдельных миофибрилл. Забыл сказать об этом при свидании.

Карточка, как видите, представляет некоторый интерес: итало-византийская архитектура венецианского собора Евангелиста Марка! Как давно она у меня лежала и как я рад, что она попадет в Ваши милые руки. Простите!

А. У.

22 ноября 1922

Дорогая Ида Исаковна, придя домой, я понял, что надо было ответить на Ваш вопрос о том, будто я «очень рассердился» на нашу александрийскую компанию. Я правдиво сказал Вам то, что чувствую в себе: я не рассердился. Но и Вы правы, что что-то произошло. Произошло во мне то, что, может быть, лучше, а может быть, и хуже, чем «рассердился»: я вдруг *успокоился* в отношении этих работ; в глубине души у меня что-то махнуло рукой, будут эти работы или нет.

До сих пор я жил только надеждою, что они будут. По правде сказать, среди постоянных тревог и волнений кроме этой надежды и не было ничего, на чем можно было бы отдохнуть душою. А теперь я чувствую, что ждать этих работ я перестал, т. е. не я перестал, а «у меня перестало». Я очень понимаю, что не вина нашей компании в том, что с дурацкой «скачкой с препятствиями», в которую обратилась студенческая жизнь, у людей нет времени и сил работать в лаборатории. Я не виню, а потому не сержусь; но уже и не жду более, а «успокоился».

Мне очень ясно, что последствием безработицы будет то, что начнется неизбежное вдвигание новых, *не наших*, элементов на место александрийцев в лаборатории. Ощущая

это, я хотел, чтобы по крайней мере александрийцы бывали в лаборатории и принимали участие в ее жизни. Но и это не вышло. Значит, мне остается «laisser faire, laissez passer»!<sup>1</sup>

Мне это больно, – Александрия наша все более затуманивается и уходит от меня. Но, видимо, и тут остается лишь «успокоиться».

Маленькая зацепочка (но совсем уже маленькая, ибо совсем удаленная от жизни лаборатории!) остается в начавшемся физиологическом кружке. Но я теперь уже заранее чувствую, что и тут смогу, не «сердясь», успокоиться, если, – на радость Ветюкову и К°, – дело не пойдет.

Александрийцы и не подозревают, как *надо было* для нашего общего дела начать теперь работать!..

Итак, винить я не виню никого, но огорчен очень! И представьте себе, какой психологический парадокс: я огорчен тем, что успокоился! Казалось бы, чего лучше успокоения и нейтрализации?

Тетрадочку Вашу я очень прошу возвратить мне поскорее, не позже *недели*, так как я должен сесть за писание нашей прошлой работы, пока есть силы и возможность писать.

Простите, что писал в тетрадке кое-что.

*Ваш, душевно преданный А. Ухтомский*

---

<sup>1</sup> Делать, что хочется, идти, куда хочется (*фр.*).

*25 ноября 1922*

Мой прекрасный друг Ида Исаковна. Мне сейчас так захотелось побеседовать с Вами, что вот беру бумагу и сажусь писать, если уж так не приходится говорить с Вами. Иногда душа бывает так наполнена содержанием, которое нужно высказать кому-то. Кому? Да вот тому, в ком видишь друга, своего друга – пускай он будет далек, за тридевять земель!

Ну, так простите, милый друг, что я, пожалуй, надоем Вам этими письменными речами, может быть более длинными, чем Вы хотели бы.

Иногда душа собирается в себе, соединяет за много времени пережитое, обзревает пройденное, и тогда как будто начинает многое понимать и открывает при новом свете, что до сих пор казалось таким многосложным, разнообразным, трудным. И когда приоткрывается хоть краешек смысла в жизни, становится так хорошо на душе, что в это время особенно хочется пожать руку другу и сказать, что увидел. Простите же, что немного надоем Вам своим писанием! Я буду говорить все из своих тем, о которых Вы слыхали. Они все развиваются и растут постепенно в моей душе.

«Творческая идеализация», которую я считаю основной тайною человеческого общежития. Буду говорить о ней же!

Мнение брата о тебе, вера брата в тебя – обязывает тебя

и фактически двигает тебя в ту сторону, в которую он тебя идеализирует; но это лишь при условии, что ты любишь брата твоего и фактически тебе дорого быть для него хорошим, – каким он хочет тебя понимать и знать! И тем более, когда он опирается на тебя – такого, каким тебя понимает.

Жизнь, построенная на идеализации, вполне противоположна жизни, построенной на искании своего личного. В одном случае человек говорит: «Ты ничем не лучше меня – такое же порочное и маленькое существо, как и я, и поэтому я не хуже и не ниже тебя, и да царствует наше „равенство в правах“!»! В другом случае человек говорит: «Ты прекрасен и добр, и свят, а я хочу быть достойным тебя, и вот я буду забывать все мое прошлое ради тебя, буду усиливаться дотянуться до тебя, чтобы стать „равным тебе в твоём добре“»!

Вы чувствуете, что в первом случае человек домогается равенства тем, что *стаскивает другого с его высоты до своего уровня*, принижает его до себя. В другом случае он домогается того же равенства, но тем, что *усиливается подняться со своего низа до того высшего*, в котором видит другого.

И Вы понимаете, что в первом случае дело, по существу, *консервативно и мертво*, ибо тут человек самоутверждается в своей неподвижности! А во втором – дело в *напряжении и росте*, в движении вперед, ибо человек уходит от себя и возрастает в высшее!

Вот противоположности «равенства в правах» – мертво-

го социалистического и юридического равенства и равенства христианского в высшем достоинстве перед Истиною и Богом!

Часто – чаще, чем думаем, – бывает, что лишь издали порываясь к человеку, домогаясь его, пока он для нас – недоступная святыня, мы любим и идеализируем его, и тогда обладаем этим великим талисманом творческой идеализирующей любви, которая прекрасна для всех: и для любимого, – ибо незаметно влияет на него, – и для тебя самого, – ибо ради нее ты сам делаешься лучше, деятельнее, добрее, талантливее, чем ты есть!

Но вот идеализируемый человек делается для тебя доступным и обыденным. И просто потому, что ты сам плох, обладание любимым, ставшее теперь простым и обыденным делом, роняет для тебя твою святыню, – незаметным образом огонь на жертвеннике гаснет. Идеализация кончается; секрет ее творческого влияния уходит вместе с нею. И ты оказываешься на земле, *бескрылым, потерявшим свою святыню – оттого что приблизился слишком близко к ней!*

Любимый, идеализируемый друг – залог твоего возрастания – делается для тебя «достойным, т. е. заслуженным собеседником». Иерусалим делается всего лишь грязным восточным городом! И из-за его восточной грязи ты более не способен усмотреть в нем его вечной святыни! Прекрасная невеста прекрасного ради нее жениха стала затрапезною женою отупевшего мужа!.. Потеряв тайну идеализации, мы пе-

рестаем усматривать лес за кустами, видим одни эти кусты и близоруко удивляемся, – куда же это девался тот прекрасный лес, который мы так ясно видели, пока смотрели издали! А закрыв свой взор этими ближайшими кустами и сорными травками, мы потом все более укрепляемся в убеждении, что это мы в самом деле, должно быть, «ошиблись», пока идеализировали издали и нам казался прекрасным лес!

А на самом деле Шопенгауэр прав, что первое впечатление всегда наиболее правильное, как бы оно ни заслонялось потом близорукими наслоениями от слишком близкого общения с человеком, когда ты делаешь из него для себя *то, чего ты сам стоишь*. Первое впечатление – наиболее бескорыстно и потому наиболее объективно!

Но с того момента, как идеализация кончилась, так или иначе, дальнейшее сожитие людей становится просто во вред; просто во вред, ибо оно притупляет, угнетает, лишает сил обоих. *Ты потерял веру в меня, – с этого момента ты роняешь меня, гнетешь, отнимаешь у меня способность действия*. Лучше разойтись, и как можно скорее!

Вот так-то бывший любящий и любимый ученик становится Иудею-Предателем!

Перед нами пронеслась прекрасная наша Александрия, лето 1922 г. В чем ее секрет? Что в ней так дорого всем нам? Это *удавшееся человеческое общежитие!* Людям редко удастся общежитие столь удачное. И вот, может быть, уместно у этого удавшегося случая поучиться, где же секрет удачи!

Секрет Александрии в том, что люди *умели там идеализировать друг друга*, – умели видеть и любить друг в друге их *алтари*, а не *задворки*; умели подходить друг к другу со стороны алтарей, а не задворков! И оттого чувствовали счастье, что видели друг в друге алтари! Были награждены за идеализирование друг друга тем, что бодрили, поднимали друг друга, а потом и самих себя! Пока видит и приветствует человек в своем ближнем и друге его алтарь, то и в себе живет преимущественно своим алтарем; а когда в другом начинает замечать задворки, наверное, тогда судит с точки зрения своих собственных задворков и из-за них не видит ничего выше и поучительнее себя самого!

И знаете ли, отчего человек так часто (чаще всего) предпочитает судить ближних со стороны задворков и так скуп и редко идеализирует? Это оттого, что судить с задворков проще и успокоительнее для себя, – это тайное оправдание себя самого и своих задворков: *а идеализация другого обязывает и самого того, кто идеализирует, ведет к труду, к самокритике!*

Психологически понятно, что человек усматривает в другом те грехи, которые по опыту знает в себе. Чистый знает и других как чистых. Чистая юность умеет идеализировать, и зато она так прогрессивна духом и так способна к росту! Приземленная старость, если она не сопряжена с мудростью, теряет широту и щедрость духа, потребную для веры в человека и для его идеализации. И оттого она так оскудевает

духом, брюзжит и уже не приветствует более вновь приходящей жизни!

И в науке, и в практической жизни, и в том, как мы подходим друг ко другу, есть такого рода «понимания» и теории, которые облегчают человеку все новое и новое проникание в окружающий опыт и в реальность. Но есть и такие «кажущиеся понимания», которые только заслоняют для человека реальность, действуют как шоры; не дают открытою душою видеть и воспринимать то, что есть перед тобою! Так нередко – тем самым, как мы толкуем и «понимаем» для себя встречного человека, – мы лишь заслоняем его от себя и не можем уже рассмотреть, что он есть и чем может быть в действительности!

Идеализирующая юность, равно как и подлинная мудрость старости идут в мир и к людям с раскрытою душою и именно поэтому успевают видеть в мире и в людях все новый и новый смысл, прекрасное многообразие и увлекающую ценность! А брюзжащая, критиканствующая старческая скудость замкнулась душою, перестает улавливать то, что есть и вновь приходит в мир, и сама в себе носит причины того, что и мир и люди с некоторого времени кажутся ей скучными и дурными! Из любящего друга Вселенной и людей человек, незаметно и постепенно, может сделаться их клеветником и наветником; и от творческой идеализации их переходит тогда к их убийству словом и делом!

Бога мы понимаем так, что Он всегда, и несмотря ни на

что, любит мир и людей и ждет, что они станут прекрасными и безукоризненными до конца, – и Он все оживляет и воскрешает. Дьявол-клеветник опорочивает мир и людей, подыскивает на них обвинения, издевается над идеализацией, объявляет ее ошибкою и, вместе с тем, убивает и разрушает!

Прочтите у апостола Павла (I посл., к Коринф., гл. 13) великую характеристику любви (в оригинале на церковнославянском): любви долготерпит, милосердствует... не гордится... не ищет своих си... не мыслит зла, не радуется о неправде... вся любит, всему веру имлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает...

«Видишь ли, – говорит Иоанн Златоуст, – видишь ли, чем он завершил и что особенно превосходно в этом даре любви? Что именно значит: николиже отпадает? Не прекращается, не ослабевает оттого, что терпит, потому что любит все». «Не отчаиваясь ожидает от любимого всего доброго, и хоть бы он был худ, не перестает исправлять его, пещись и заботиться. Всему веру имлет; не просто надеется, но с уверенностью, потому что сильно любит; и хотя бы сверх чаяния не происходило добра, и даже любимый становился бы еще хуже, она переносит и это – вся, говорит, терпит. Любы никому же отпадает». Можно ли найти лучшую характеристику любви-идеализации?!

Но остается в силе тот страшный факт, что неосторожным и недостойным приближением к тому, что любишь и

идеализируешь, ты можешь потерять любимое и идеализируемое, – постепенно и незаметно можешь превратиться в его клеветника и наветника! Слишком большое сближение для неблагородной души принижает, роняет того, кто издали был творческим идеалом! Слишком большое сближение уронило в глазах Иуды Христа, – иссякло благоговение к тому, кто слишком близок и обыкновенен, иссякла идеализация! И из друга-ученика человек незаметно превращается в клеветника и предателя! Вот трагедия из трагедий человеческой души! Ее необходимо понимать и учитывать в жизни, дабы избежать той же беды для себя!

Благородная душа тем более и глубже любит, чем ближе к ней ее любимый и ее идеал! Душа слабая перестает уважать и ценить то, что слишком близко к ней! Для рабски настроенной неблагородной души снисхождение Христа до грешного и упавшего человечества стало поводом к презрительности к самому Христу! «Исполняюсь гневом и скорбью за моего Христа, – говорит Григорий Богослов, – когда вижу, что бесчестят Христа моего за то самое, за что наиболее чтить Его требовала справедливость. Скажи мне: потому ли Он веществен, что смирился ради тебя? потому ли Он – тварь, что печется о твари?» «Это ставишь ты в вину Богу – Его благодеяние? Потому ли Он мал, что для тебя смирил Себя?.. Это ставишь в вину Богу? За то считаешь Его низшим, что препоясается лентием и умывает ноги учеников, и указывает совершеннейший путь к возвышению – смирение? Что сми-

ряется ради души, преклонившейся до земли, чтобы возвысить с Собою склоняемое долу грехом? Как не поставишь в вину того, что Он ест с мытарями и у мытарей?.. Разве и врача обвинит иной за то, что наклоняется к ранам и терпит зловоние, только бы подать здравие болящим?..»

Тут, конечно, самый глубокий, интимный и вместе с тем самый тонкий и страшный суд над человеческой душой, ее задатками и благородством: оттого, что твой любимый, твой идеал и Христос пошли тебе навстречу, стали обыденны и близки тебе, смиренно сблизилась с тобою, – стали ли они для тебя тройне дороги и высоки, и прекрасны? Или же, напротив, стали затрапезны, унижены, потушены для тебя?

Сознание страшной опасности потухания идеала и идеализации от неосторожного и недостойного приближения к ним дает нам понять целомудренное стремление некоторых отдалиться от любимого и уклониться от обыденного общения с ним! *Для того тут человек и уклоняется от любимого, чтобы не потерять его для себя!* Боится человек заслонить для себя святыню друга, однажды ему открывшуюся, – заслонить ее приземистою обыденностью своей души, для которой всякое сближение легко превращается уже в амикошонство и для которой «нет пророка в своем отечестве»!

30 ноября 1922

Ужасно много еще имею я сказать Вам, мой любимый человек: почему-то я уверен, что *надо* Вам сказать об этом, уверенность эта коренится на том, какую я знаю Вас по Александрии, когда мы были вместе и говорили лицом к лицу. Теперь, конечно, утекло уже много воды, пришли новые впечатления, утекло и переменялось многое в Вашей душе: ибо человек существо текучее и утекающее! *Дай ему Бог только утекать в лучшее, во все большее расширение души, сердца и духовного зрения!* Упаси Бог от самодовольной узости, от ссыхания сердца, от духа клеветы на мир и на людей!

И вот, при всей этой странной уверенности, что надо сказать Вам о том, что мне кажется важным, я начинаю и бояться, что надоем Вам этими длинными речами посреди Ваших новых впечатлений и интересов. Но уже простите меня за назойливое желание побыть с Вашей душой хотя бы лишь через письмо! В извинение мне примите во внимание, что беседовать мне с Вами не приходится и, очевидно, не придется (по крайней мере, в близком будущем); ибо в долгое отсутствие солнышка земля уже успела промерзнуть, – прийти в свое привычное молчание; и Вы, я думаю, замечаете, что при мимолетных свиданиях с Вами я все равно о дельном и важном говорить не могу, ибо опять привык молчать. Так в

те часы досуга и относительного покоя, ночью, когда кругом тихо, позвольте мне письменно говорить Вам мои задушевные мысли, хотя бы изредка и пока есть еще досуг и относительный покой.

Собрался я еще писать Вам на целую новую, очень большую тему о том, как Исаак Сирий понимал «геенну» и Суд. Но решил отложить это до благоприятного будущего, чтобы не злоупотреблять Вашим вниманием сейчас. Когда-то Вы сказали дорогое для меня слово, что очень много приобрели через меня. Но ведь то, с чем Вы познакомились через меня до сих пор, составляет лишь каплю в море из того, что надо бы мне передать Вам из моего заветного мира мыслей, понятий, предчувствий. Будете ли Вы слушать мои речи, будете ли моим собеседником и другом? Как обо многом, обо многом надо было бы сказать Вам! Ведь для меня величайшее наслаждение, что Вы переживаете, передумываете, переживаете Вашей прекрасной душой мои заветные мысли!

Но тем более грустно мне (простите за откровенность!), что не могу уже я переживать с Вами, как было в прошлом году, мои лекции! Мне очень грустно, когда Вы не бываете в аудитории, – точно читаешь впустую! Переживается настроение в духе Шопенгауэра.

...Но это, конечно, только «настроение»: все это, конечно, немного смешно и минуется. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время родиться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время

убивать и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время сетовать и время плясать; время обнимать и время уклоняться от объятий; время искать и время терять; время сберегать и время бросать; время раздирать и время сшивать; время молчать и время говорить; время любить и время ненавидеть; время войны и время миру...» (Екклезиаст, 3, 1–8).

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.